**Даниил Жуковский[[1]](#footnote-1): Путешествие в рождающееся Я**

Для внешнего наблюдателя детство разных детей, в общем, не различимо. Все дети играют в какие-то игры, увлеченно слушают сказки, реагируют на те или иные события… В сущности говоря, об этой «общности детств» повествуют практически все современные психологические исследования. Уж такова установка современной психологии: самоотверженно выявлять общее и закономерное. А иначе – в чем смысл науки?

Действительно, таков стандарт современной научности. И ребенок в рамках такого рода стандарта – это особого рода «объект», который нужно наблюдать и исследовать и по отношению к которому можно ставить те или иные исследовательские задачи: осуществлять те или иные концептуальные обобщения, выявлять общие закономерности развития и.т.п. А как же иначе? Разве не в выявлении закономерностей заключается главное предназначение науки?

Однако вот в чем штука..

Человек – это единственный «объект» во Вселенной, который несет в себе феномен **субъективного** опыта, несет в себе **субъективный мир**, который по определению не может быть наблюдаем объективно, извне – можно наблюдать только какие-то объективированные проявления этого субъективного мира.

И тогда возникает вопрос: может ли быть предметом науки, предметом научного наблюдения и интерпретации этот индивидуальный субъективный мир отдельно взятого человека или отдельно взятого ребенка в его принципиально несовпадении с любым иным субъективным миром, любым иным индивидуальным субъективным космосом?

Во всяком случае, было бы странно обходить эту проблему индивидуального субъективного мира стороной – ведь в несовпадении внутренних субъективных опытов, возможно, и заключается главное, что составляет суть человека. Не то, в чем человек общ с другими людьми, а то, в чем он заведомо не совпадает ни с кем иным. То, что составляет специфику его субъективности – его уникальный внутренний мир, который принадлежит ему и только ему. Не то, в чем принципиально совпадают все дети той или иной возрастной категории, а то, чем взгляд одного ребенка принципиально отличается от взгляда другого. Потому что в этом субъективном несовпадении, возможно, и состоит самая глубокая, самая важная тайна человека.

Психология ХХ века потратила немало сил на то, чтобы научиться наблюдать поведение ребенка.

Но как научиться наблюдать ненаблюдаемое?

Мы можем наблюдать и интерпретировать речевое поведение ребенка - но как увидеть его внутреннюю речь?

Мы можем наблюдать поведенческие проявления ребенка - но что они говорят о том, что при этом происходит у ребенка внутри?

Самая трудная, самая существенная проблема возрастной психологии: даже самым тщательным образом наблюдая за детским поведением, вслушиваясь в детскую речь и пытаясь понять те или иные детские реакции, мы обречены не знать, что скрывается за этим поведением, за этой речью и этими реакциями во внутреннем плане ребенка.

Поведение ребенка, его слова и вся сумма внешних реакций - это то, что происходит словно "мимо" того, что при этом происходит в его внутреннем мире. Это словно две параллельных реальности. Во внешнем своем поведении ребенок вполне просчитываемая и исчисляемая величина; в своем внутреннем существовании он не исчисляем и неисчерпаем. Взрослый мир имеет дело с внешним ребенком. И никому не дано узнать ребенка внутреннего. Все то, что происходит внутри ребенка, доступно только ему, и только он сам мог бы об этом рассказать - но если бы у него уже были сформированы аналитические инструменты самонаблюдения.

В этом и состоит главная, роковая проблема для исследования и понимания становящегося детского сознания. Этот мир становящегося сознания доступен и открыт в своей непосредственности только самому ребенку - но у ребенка нет еще инструментов наблюдения и понимания того, что в нем происходит. Нет понятийно-аналитического инструментария, а есть только бескрайнее море чувств и ощущений, которые даже не имеют имен.

Но когда ребенок взрослеет и в нем, наконец, кристаллизуется то, что мы называем понятийным мышлением, когда у него появляется инструментарий наблюдения и понимания - сам предмет наблюдения, т.е. те внутренние состояния, которые он проживал в процессе становления своего сознания, оказываются от него бесконечно далеко.

И оттого внутренний мир ребенка в период его младенчества и раннего детства - это своего рода terra incognita для взрослого человека.

Нужен немалый труд, чтобы припомнить, восстановить хотя бы малую толику тех реальных переживаний, которые происходили с ним когда-то

Там - переживания и чувства, у которых еще нет языка, нет имен. И при том, что они невероятно ярки и их невероятное количество, они никак не помечены и никак не обозначены.

Требуется специальное усилие всматривания в свой ушедший в прошлое внутренний мир, чтобы открыть и описать хотя бы малую толику этого гигантского мира. И мало кто отваживается на то, чтобы поставить перед собой эту неимоверную трудную задачу ретроспективной интроспекции. Это задача не просто всматривания в себя прошлого, но всматривания в себя, оставшегося в **невообразимо** далеком прошлом: ведь для раннего детства (а уж тем более для младенчества) время выстроено совсем не так как для взрослого, и всего одна неделя или даже один день жизни трехлетнего, двухлетнего, а уж тем более годовалого ребенка по своей насыщенности внутренними событиями сродни десятилетию жизни взрослой. Для взрослого проходят часы или дни, а для ребенка - эпохи. И каждая из этих эпох наполнена мириадами событий, которые оставляют в сознании зрелого человека лишь смутный отголосок.

Чем более ранним является возраст - тем более насыщен событиями каждый миг. Так, для ребенка только родившегося, каждая секунда жизни - шквал событий; при том что у только родившегося ребенка это события наименее различимые и осознаваемые. Это именно шквал совершенно пока еще недифференцированных чувств и восприятий. Это некая сплавленность в единое и не различимое целое звуков, красок, запахов, прикосновений - что-то вроде той сплавленности пространственно-временных и физико-химических характеристик, что возникает в момент "Большого Взрыва" - в момент рождения нашей физической Вселенной. И едва ли когда-либо наступит момент, когда кому-то удастся приблизиться к описанию того, что происходит внутри появляющегося на свет ребенка.

Ребенок смотрит на предмет - но видит совсем не то, что видит взрослый. Взрослый "ловит" предмет в ловушку имеющегося у него имени-понятия. У ребенка такой ловушки нет. Для него каждый из сотен тысяч попадающих в поле его внимания предметов безымянен и не знаком. У него нет еще инструментов для категоризации предметного мира. Он все видит впервые и все вынужден поименовывать впервые - на своем внутреннем языке эмоций. Ему падает на лицо солнечный свет, он чувствует его тепло, его слепит его яркость, но для него это некая абсолютно незнакомая сущность, которая пока никак не поименована и существует на уровне непосредственного и недифференцированного *"чувства-ощущения"[[2]](#footnote-2)*. В нем нет пока никакого внутреннего инструментария, позволяющего определить нечто как "свет", как "солнечный", или как то, что "падает" и что "слепит" - ведь это все слова из взрослого понятийного аппарата. Уже в более взрослом состоянии, попадая из темного пространства в светлое, он будет опираться на уже сформированное в нем имя-понятие и говорить: здесь "светло", здесь есть "свет". Но на ранних ступенях развития у него есть только непоименованные еще чувства-ощущения, и понимание (а, стало быть, и поименование) мира в нем еще только должно произойти. И никто ему в этом не поможет: он сам должен отделить тьму от света и дифференцировать свое первоначально синкретичное, "слипающееся" восприятие, создать собственную палитру образов, отражающих неисчерпаемое многообразие мира.

А пока - лишь «дух над бездною». Пока лишь чувство-ощущение открывающейся бездны, но бездна "безвидна и пуста", коль скоро в этой открывающейся чувствам и переживаниям бездне реального мира пока все слеплено в единый и неразличимый комок. Ее еще нужно оформить, заключить в какие-то смысловые рамки, сделать дифференцированной и раздельно значимой. Отделить не только тьму от света, но и массу других предметов отделить друг от друга, увидеть их смысловые границы и очертания.

Проходят секунды, минуты, часы новой жизни, и каждое ее мгновение наполнено интенсивным процессом дифференциации чувств; но все, что происходит в этот период времени, по-прежнему обречено быть не различимым для внешнего психологического наблюдения. Можно лишь догадываться о многообразии случающихся с младенцем **эпох**; однако следует признать, что содержание этих эпох навсегда закрыто для сколько-нибудь не спекулятивного психологического размышления. И только когда у ребенка возникает самосознание - сознание своего отличного от мира Я (а происходит это в возрасте примерно трех лет), можно говорить о том, что события его внутренней жизни начинают задерживаться в памяти и появляется принципиальная возможность хотя бы смутных воспоминаний о том, что происходило в нем в этот период времени. Но и здесь от взрослого требуется немалое усилие, чтобы вызвать в своей памяти внутренние состояния трехлетки и дать им сколько-нибудь адекватное описание. Ведь понятия, которыми пользуется взрослый - это понятия из его, взрослой жизни. А во внутреннем опыте ребенка этих понятий заведомо нет.

*"В душе его, не заполненной предметностями, не устроенной еще для упорядочения и классификации вещей, отдаленные предметы отражаются не красками, не линиями, на которые их разлагает взрослый, вооруженный нужным для этого материалом, – а какою-то иной сущностью, действующей непосредственно на чувство".*

Уловить, сохранить и описать свое раннее детское переживание сродни чуду.

Ведь само по себе переживание или даже образ переживания - это то, что не удерживается в памяти. Памяти требуются знаковые метки, "зарубки", "засечки" - например, в виде слов. А если таких зарубок и засечек в раннем опыте ребенка нет (а их, как правило, нет!), образы и переживания прошлого ускользают, как ускользают образы и переживания даже самого яркого сна, если не припомнить его рано поутру и не облечь в какие-то словесные конструкты. А вот если такие знаковые конструкты созданы, образы сна будут всплывать легко и свободно, будучи удерживаемы силовым полем слов. Но сознание трехлетнего ребенка еще не создает таких знаковых конструктов, позволяющих удерживать происходящие в нем ощущения, чувства и переживания. И оттого каждый человек, который пытается осуществить усилие воспоминания этих событий своего внутреннего детского опыта, совершает в некотором роде подвиг. И профессиональные психологи должны быть бесконечно благодарны каждому, кто отваживается на работу такого рода ретроспективной интроспекции.

**\* \* \***

Есть что-то поразительное и невероятное в том, как строится процесс воспоминания.

И в том, зачем и почему воспоминание совершается.

Удивительно точные слова Даниила Жуковского: и не воспоминания вовсе, а *«процесс абстрагирования моего детского «я» из моего теперешнего».*

Попытка понять, чем ты сегодняшний отличаешься от себя вчерашнего. Попытка понять, чем или кем был ты тогда – в отличие от того, кем ты чувствуешь себя сегодня. Ведь и там, и там – ты. Но какая сумасшедшая, невероятная разница! Правда, не выговариваемая. Потому что, возможно, это самое трудное – рассказать про жизнь внутреннего «я» в ту еще пору, когда у этого «я» не было еще ровным счетом никаких средств для понимания себя и не было никаких возможностей для сколько-нибудь понятного выговаривания себя вслух.

Попытка вглядеться в мир чувств и эмоций, в мир мыслей и переживаний себя самого – но того, который существовал в немыслимо далекое время, когда тебе было три или четыре года.

А хочется рассказать о невероятно важном, о невероятно значимом: о том, как в тебе происходит рождение чувств, рождение мыслей и эмоций. Ведь ты об этом помнишь, помнишь – но помнишь на уровне смутных и постоянно ускользающих образов.

Однако никто, кроме тебя, рассказать про это не может. Потому что это твой. суверенный, только тебе принадлежащий мир памяти о себе самом. О себе внутреннем.

Мы еше готовы помнить и рассказывать о внешних событиях – о тех, о которых знаем не только мы, но и окружавшие нас взрослые. И которые стали предметом легенд и семейных преданий.

Нам рассказывают какие-то смешные истории из нашей детской жизни – и мы весело им смеемся, смеемся тому, какими мы были смешными и нелепыми. Какие делали детские глупости.

Мы так легко, так охотно усваиваем эту снисходительную взрослую позицию про то, что ребенок, по сути, глуп. Хотя на самом-то деле, в глубине души, отчетливо понимаем, догадываемся, что вовсе мы не были «глупы» - мы просто были ДРУГИМИ по отношению к тому, каковыми мы становимся в нашей уверенной в себе взрослости.

*\* \* \**

*«Я жил так, как жило большинство детей в тогдашних интеллигентных семьях. Я строил домики из кубиков, из карт, я забавлялся всеми играми, которым меня учили и которые мне покупали, я любил сказки Пушкина, Андерсена, "Приключения Мурзилок"; я боялся синего портного, которым иллюстрировался старый "Степка-растрепка", вырезал узоры из разноцветной бумаги, любил елку и день своего рождении… Но были среди всего этого такие игры, такие сказки и такие восприятия, которые явились чем-то очень большим и чреватым последствиями».*

Речь, конечно, не о внешних последствиях, а о последствиях внутренних. О том, что оставляет в душе ребенка ощущение подлинности, событийности. О том, что почему-то оставляет в памяти неизгладимый след, и к чему человек снова и снова возвращается на протяжении всей последующей жизни. А это, конечно же, связано с силой переживания. И случиться эта сила переживания может в «играх», в «сказках» или просто в каких-то «восприятиях» - во всем том, что ребенок наполняет своим «Я».

Никогда не возможно предугадать, что окажется в жизни ребенка таким вот сверхзначимым событием. Потому что связано это вовсе не с внешней его значительностью и яркостью, а с неким внутренним строем детской души, которая вдруг реагирует и откликается на что-то, и для нее случается «нечто», хотя для кого-то другого это «нечто» оказывается совершенно незаметным. Если мы спросим родителей повзрослевшего ребенка: что на их взгляд было самым значимым и важным для этого ребенка в том или ином возрасте, их показания почти наверняка не совпадут с мнением самого ребенка. Взрослые, как правило, даже не подозревают, что является по-настоящему важным и значимым для их детей.

Да и сам ребенок, становясь взрослым, часто меняет взгляд на то, что когда-то казалось значимым: то, что казалось важным в прошлом, затеняется и перекрывается тем, что сегодня оказывается в зоне актуальности. Но при том именно детские переживания в значительной мере предопределяют предельные, экзистенциальные основания личности: то, что составляет личностную суть человека. И оттого у каждого человека обязательно есть какие-то воспоминания детства, которые сопровождают его всю жизнь. Порою эти воспоминания кажутся нелепыми и случайными – человек не может рационально объяснить, почему именно они зацепились за его сознание. Однако именно эти, сохраняющиеся в памяти человека осколки его детского переживательного прошлого, являются его потаенной точкой опоры – тем, что «якорит» его в жизненных бурях и перипетиях, позволяют удержаться на плаву, когда никаких других оснований держаться на плаву уже не остается. Это не значит, что человек отдает себе отчет в значимости этих детских воспоминаний – нет, на рациональном уровне он, скорее всего, не придает этим своим воспоминаниям особенного значения: мало ли что там помнится? Но по своей иррациональной сути эти воспоминания – оправдание жизни или, говоря словами Пастернака, «охранная грамота» жизни. Потому что они – про некую **подлинность переживания** – ту абсолютную, предельную подлинность, которой уже никогда не случится в последующей жизни. Потому что только здесь, в раннем детстве некое мгновенное ощущение (запаха, цвета, звука) может переживаться как абсолютно полная Вселенная. А, значит, эти мгновенные ощущенияи есть абсолютные и непоколебимые доказательства твоего бытия. Только здесь, в раннем детстве твое бытие по-настоящему абсолютно: тебе не нужно утверждать и доказывать свое право на существование с помощью каких-то достижений. Только здесь твое бытие не опосредовано никакими целями и планами и никак не зависит от возможности или не возможности их осуществления. Только здесь, в раннем детстве твое **право быть** абсолютно никак не связано с твоей успешностью, и ты наполнен ощущением бытия безотносительно к тем или иным намерениям и результатам. Оттого-то с такой безоглядной полнотой погружается ребенок в игру или в созерцание: любое мгновение существования в мире для него абсолютно самодостаточно. И оттого те немногие сохраняющиеся в его памяти воспоминании раннего детства – это зачастую вовсе не какие-то «особо значимые» переживания, а вполне случайные осколки того периода жизни, когда каждый миг был одинаково и абсолютно значим. И оттого совершенно не важно, что именно зацепилось в памяти – тем самым прошлое посылает тебе сигнал, что ты – был, и был абсолютно. И одного или нескольких таких сигналов, в общем, достаточно, чтобы уже во взрослом состоянии выдерживать все новые и новые испытания жизни, которая уже навсегда опосредована рациональным целеполаганием – не самодостаточна, не самобытийна, а является функцией от твоей успешности.

*«Когда я вспоминаю то, что было в прошлом году или пять лет назад, - я вижу, как все события катастрофически быстро сжимаются, тускнеют и как года превращаются в белые страницы. То, что казалось главным и важным, когда оно совершалось или недолгое время потом, - через год, через два оказывается вовсе не важным и совсем не главным. И только несколько младенческих переживаний каждый раз снова сияют нетускнеющим блеском. Они - моя единственная соломинка... И, когда я спрашиваю себя, что же значительное было в моей жизни, мне хочется ответить словами Блока: "Это было в детстве; а теперь со мной вообще ничего не бывает". Правда, в иные минуты начинаешь ощущать, что такой крайний пессимизм - лишь половина истины, но он нужен нам, должно быть, для того, чтобы дать понять, что с какой-то точки зрения вся наша жизнь действительно потеряет цену, если из нее вырвать детство».*

*\* \* \**

Впрочем, есть и еще один сюжет, связанный с тем, что и в своем рациональном целеполагании, и в своих целевых достижениях и результатах, человек странным образом укоренен в своем раннем детстве.

«*Мои увлечения, серьезные и маленькие, эстетические и научные переживания есть лишь как бы нити, протянутые от нескольких простых и ярких состояний самых юных лет. Если и есть ценное в том, что я думаю и делаю теперь, то лишь тогда, когда это является продолжением дел, начатых в возрасте трех-четырех лет».*

Чаще всего взрослые абсолютно снисходительны к своему собственному раннему детству и смотрят на него с плохо скрываемым высокомерием, сверху вниз, с высот накопленного опыта и приобретенного ума. И только людям по-настоящему талантливым удается осознать, что вся их творческая жизнь – это не что иное, как попытка восхождения к каким-то явившимся еще в раннем детстве вопросам и внутренним состояниям. Когда взор еще не заслонен чужими восприятиями, когда твое восприятие является абсолютной точкой отсчета – только тогда могут произойти в тебе те вопросы и те интуиции, которые являются воистину твоими, и которые в своей детской наивности готовы тебя подпитывать всю оставшуюся жизнь. И оттого по-настоящему талантливый человек – это человек, который, уже став взрослым, продолжает вести диалог со своим внутренним ребенком – с теми вопросами и интуициями, теми образами и ощущениями которые родились в нем еще в самом раннем детстве. Тогда как большая часть «обыкновенных» людей старательно изживают и утрачивают в себе ребенка, подменяя остроту и свежесть собственного восприятия мира и собственного мышления о мире некими общепринятыми «знаниями» о мире – теми знаниями, которые делают людей идентичными друг другу, а, стало быть, по большому счету – неинтересными.

Человек, который утрачивает связь со своим детским опытом – это человек, который, в конечном счете, утрачивает самого себя. Он выучивается жить в нормах той или иной «правильности», и он даже, возможно, оказывается жизненно успешен, но он глубинно несчастлив, если у него нет опор в самом себе – нет опор в переживаниях собственного детства.

В детстве каждый человек самостен, то есть принадлежит в своих чувствах и переживаниях мира самому себе, а не тем или иным выученным или присвоенным стандартам. И только тогда, когда в человеке случается связующая нить между «самостными» переживаниями и открытиями детства и тем, чем он занят во взрослой жизни, он может быть по-настоящему счастлив.

И в этом природа способности переживать жизнь как счастье у самих детей. Детство счастливо вовсе не потому, что не знает страданий – страданий в жизни маленького ребенка ничуть не меньше, а, может, и больше, чем в жизни взрослого, и страдания эти острее и горше. Ребенок счастлив потому, что он умеет жить **своей** внутренней жизнью и он не подлаживает эту свою внутреннюю жизнь ни под какие внешние стандарты. И оттого каждая минута его существования наполнена острым переживанием себя, острым переживанием своей абсолютной первичности и абсолютной ценности своего переживания. И оттого даже экзстенциально-трагические переживания, которыми наполнена жизнь маленького ребенка, это переживания, которые сопряжены для ребенка с базовым ощущением счастья и полноты собственного существования в мире. Вот почему детство счастливо: не потому, что оно не знает горя, но потому, что ребенок в любой момент наполнен ощущением подлинности жизни. Вся его внутренняя жизнь – жизнь восприятия и переживания – строится не по чужим лекалам, а исключительно по собственной прихоти.

*«Я не понимал бы ребенком других детей, если бы их видение мира не было так же остро, свежо и лирично, если бы все окружающие нас цвета, формы и звуки не смотрели и на них такими же странными лицами, то сурово-зловещими, то ласково улыбающимися; а из этих восприятий и сложилась ценность моего детства».*

В этой остроте субъективного проживания мира, в этой наивной первичности восприятия, когда мой взгляд абсолютно эгоцентричен, когда он не заслонен еще и не опосредован никакими чужими восприятиями и переживаниями, и мне еще нет дела до так называемой «культуры» и до того, как видят мир другие, и состоит самая главная тайна детства.

И в этом – тайна особой общности детей: каждый из них обладает способностью к абсолютной насыщенности своего собственного восприятия мира. Ведь ни в какое другое время мое восприятие мира не обладает такой субъективной полнотой и законченностью. И это та тайна восприятия, которая доступна только ребенку. С взрослением приходит неизбежный скепсис, и я с грустью понимаю, что взгляд мой отнюдь не абсолютен, и что в бесконечном разнообразии человеческих культур, в неисчерпаемой полифонии взглядов мой личный взгляд – всего лишь песчинка. И меня покидает абсолютная и безусловная вера в свою абсолютность; но вместе с тем я неизбежно теряю силу субъективного проживания мира, и отныне переживания детства – это мой потерянный рай, где я был абсолютен и единственен, как Бог

Такова психологическая плата за «входной билет в культуру».

Но удивительное чувство, что было время, когда «люди были как боги» и это время было – детство, навсегда сохраняется в человеке как психологический образ «потерянного рая».

Вот почему *«каждый человек должен был бы оставлять мемуары о своем младенчестве» -* возможно, что через совокупность такого рода мемуаров мы смогли бы раскрыть какую-то очень важную тайну, касающуюся того, что есть человек по своей сути.

Есть некая невероятно глубокая истина, что человек происходит из своего детства. Истина, которая кажется порою настолько банальной, что мы даже не задумываемся над тем, насколько она глубока. В своем размышлении о человеческом развитии мы чаще думаем о том, что человек получил, приобрел извне, а вовсе не о том, из чего в себе самом держит свое происхождение человек.

А человек держит свое происхождение из той абсолютно эгоцентрической самости, в которой он вступает в мир, и в пространстве которой рождаются наиболее глубокие основания его личности. На этих эго-основаниях и выстраивается в последующем его диалог с культурой. И какие бы ни обретал человек в своей последующей жизни культурные оболочки, он будет в них состоятелен в том лишь случае, если сквозь них будет просвечивать его изначально самоцветная детская самость – самость первичных вопросов, ощущений и переживаний, в которых пробуждалось когда-то его уникальное, незаемное Я..

*«…Пусть иногда всего несколько страниц - один-два решающих момента, наметивших его личность, может быть, забытых и потерянных в период отрочества, юности, но потом неизбежно проснувшихся в каком-нибудь новом облике. Их трудно иногда найти в том скудном запасе фактов, который оставляет нам детство, трудно еще и потому, что наша мысль рассеяна совсем в другом, а не направлена постоянно в этот первоначальный туман, не приучена на каждом шагу сравнивать наши теперешние дела с тогдашними, отбирать и выслеживать в них то, что нужно... Но если нам все же удастся, спустившись в свое детство по главным магистралям своей жизни, разглядеть в нем эти начала, - вся жизнь тогда вытянется в таинственный, извилисто-стройный путь, в котором каждое событие есть продолжение одного и того же, есть лишь новое воплощение одной какой-то неисчерпаемой потайной струи, которую сами мы постигаем лишь чуть-чуть...*»

*\* \* \**

Фрагменты самых ранних остающихся во взрослой памяти детских переживаний – самые таинственные фрагменты. Они таинственны прежде всего своей на первый взгляд случайностью и необязательностью. Но это всегда воспоминания об очень сильных, очень острых эмоциональных переживаниях, При этом масса других – не менее острых! – переживаний оказывается стерта. И понятно, почему. Уж такова защитительная роль человеческой памяти – она спасает человеческое сознание от слишком сильных эмоциональных перегрузок.

*«Из самой глубины детства подымается во мне почти потухшая память о какой-то бесконечно тянущейся болезни. Долгое-долгое время провожу я в белых, спутанных простынях. Когда мне немного лучше, няня подставляет к кроватке ряд стульев, покрывает их чем-то, и я переползаю на них и копошусь среди бельевого хаоса. Но это вовсе не так уж плохо. Мне уютно, тепло; я занимаюсь какими-то приятными для себя делами».*

Почему так часто самые ранние детские переживания связаны с переживанием себя в тяжелой болезни? Возможно, потому, что болезнь выводит на предел жизни, резко очерчивает границу бытия и небытия.

А еще болезнь способствует возникновению рефлексии. Ведь болезнь минимизирует событийность внешнюю и заставляет предельно сосредоточиться на событийности собственного страдания.

И – чудо преодоления. Когда я из хаоса белых простыней, в которые я загнан как в ловушку, вдруг начинаю строить свой мир, свой Космос.

В каком-то смысле это метафора становления самости.

Ты вброшен в хаос белых, спутанных простыней. Ты лишен привычных радостей общения с неисчерпаемо разнообразным миром и обречен на бесконечно долгую болезнь, которая обездвиживает и обрекает тебя на эмоциональную депривацию, лишает тебя права полноценной жизни в мире разнообразных звуков, красок и запахов.

И вот здесь-то и происходит чудо. Ты обнаруживаешь, что и в этом, ограниченном во всех отношениях мире безликих простыней ты можешь быть собой, можешь изобретать и строить свою уникальную Вселенную, и ты начинаешь копошиться в этих непреодпределенных белых сущностях и с их помощью создавать свой бесконечно богатый вообразительный мир.

Оказывается, чтобы мир – был, достаточно силы твоего воображения, и скомканные простыни – это не скомканные простыни, а все, что заблагорассудится твоей фантазии.

Так ты открываешь силу своего «Я».

*\* \* \**

И другое раннее, равновеликое первому воспоминание – это воспоминание ЧУЖОГО, которое может быть властно над тобой.

Самое страшное, что может быть в мире – власть чужого и чуждого.

Самое страшное, что может быть в мире – это «бука», «турок» - беспедметные сущности, которыми взрослые пугают своих детей, дабы получить над ними власть. И вдруг такая беспредметная мифологичная сущность является в образе натурального турка, и это самое страшное, что может быть в опыте ребенка, потому что природа этого страшного не в реальности, а в установках взрослых, и оттого невесть откуда берущийся турок, заботливо берущий тебя на руки – это ужас, предуготовленный взрослыми, которым ты, конечно же, доверяешь абсолютно. И мир – рушится, и некий плот, на котором твоя семья почему-то выходит в море – словно метафора незащищенности, предвосхищающая все то, что случится в реальной жизни.

Конечно, были и другие события, другие чувства, другие переживания, но беспомощный четырехугольник парома в открытом море, и обреченная невозможность что-либо сделать, становится ключевым воспоминанием детства, являясь метафорой того, что случится с семьей Жуковских в реальной жизни. И, верно, именно потому этот сюжет застревает в памяти как ключевое воспоминание детства.

*\* \* \**

*«Затем воспоминания приобретают более последовательный характер».*

Ребенок взрослеет, и у него появляется некая временн**а**я разметка его эмоциональной памяти. Память уже нанизывается на стержень времени, возникают категории «до» и «после». Ребенок выныривает из «доисторического» хаоса переживаний, возникает время субъективной истории.

И первая отложившаяся в «исторической» памяти ребенка история – история про имена. История, едва ли замеченная кем-либо из взрослых, настолько она по внешней своей оболочке примитивна и проста. Но по своей сущности это история про одну из самых значимых встреч, которую переживает всвоей становящейся жизни маленький ребенок – про встречу с именами. Ведь ребенок ныряет в мир имен, которые ему предлагают взрослые, и каждое новое имя – это некий шифр, некая тайна, в которую хочется вглядеться и которую хочется разгадать. Не предмет – с помощью «взрослых имен», но взрослое имя – с помощью предмета.

И в данном случае это загадочные и тревожащие воображение «дача Морозовых» и «анютины глазки». Вроде бы как ничего особенного – но детское переживание вдруг неожиданно зацепливается именно за эти имена, потому что в этих именах проглядывает какая-то тайна.

В самом деле, что такое «дача Морозовых»? Для взрослых – просто имя, просто значок, случайно прилепившийся к кусочку реальности; а для ребенка – целый мир, целая вселенная странного имени, и это загадочное имя обязательно должно быть разгадано и распутано. Как странно: лето – но дача «Морозовых». Ведь мороз – это совсем из другого мира! Отчего же так странно, так чудесно оказываются здесь соединено несоединимое? И как разобрать это странное звучание «дача Морозовых» в кусочках летнего солнца на застекленном балконе?!

И таких загадок, волшебно тревожащих детскую мысль и детские чувства, неисчерпаемое количество в окружающем его мире таинственных взрослых слов, каждое из которых хочется расшифровать и понять.

Например – таинственные «анютины глазки».

Не сами цветы таинственны – имя, имя, мерцающее загадкой, которую так хочется разгадать – увидеть эти сказочные, как бы сами по себе живущие глазки, и что-то про них вообразить и понять в процесс бесконечно сосредоточенного в них вглядывания. И оттого ребенок готов бесконечно вглядываться в эти цветы,пытаясь постичь тайну их имени.

Это – процесс рождения детского взгляда, детских чувств и детского проникновения в мир окружающей его повсюду культурной символики. Ведь ребенок с самого начала вовсе не с природой самой по себе имеет дело – он имеет дело с множеством культурных имен, культурных сущностей, культурных оболочек, в которые облекается мир в разговорах взрослых. И «дача Морозовых», и «анютины глазки» - все это примеры тех первичных культурных шифров, с которыми сталкивается сознание ребенка. И которые оставляют в нем на всю жизнь неизгладимые следы. При том, что, как правило, мы даже не задумываемся над этим…

\* \* \*

Но есть кроме того, конечно, и предметность непоименованной природы.

Не предметность культурных имен, но предметность первичных сущностей, которые являются ребенку как его собственные, не нагруженные еще никакими культурными именами, образы и переживания. *«…Далеко слева вырастало что-то большое, зубчатое, немного страшное, длинно вытянувшееся в море».* И здесь уже дело вовсе не в том, что это – ограничивающая Судакскую бухту гора Алчак. Вся эта реальная топонимика ребенку пока совершенно не важна и не говорит ему ровным счетом ничего. Но зато у него есть собственное пространственное проживание некоего большого, зубчатого и немного страшного чудовища – есть свернутое в мгновенном переживании волшебство, некая вообразительная реальность, которая явлена только самому этому ребенку, и никому более.

И здесь – самое главное открытие, совершаемое уже повзрослевшим Даниилом Жуковским: открытие той совершенно особой специфики видения, которой во всей полноте обладает только маленький ребенок, и которое у взрослых сохраняется лишь в остаточных, рудиментарных формах. Это «чистое видение», которое пока не затуманено и не укрыто готовыми культурными оболочками. Это такой диалог с наблюдаемым предметом или явлением, когда смысловые границы наблюдаемого приходится изобретать самому, на свой страх и риск – приходится изобретать свое собственное, абсолютно индивидуальное знание.

Только в самом раннем детстве ребенок обладает столь яркой полнотой своего собственного, не заимствованного извне знания о мире. Обладает знанием, не взятым у кого-то напрокат, а смело создаваемым самим собою, с помощью собственного воображения и смыслопорождения. Только в этом возрасте, когда общекультурные смыслы еще не довлеют, ребенок с такой бесшабашностью сочиняет свои собственные смыслы про мир – всякий раз,когда в его эмоциональном опыте случается нечто важное.

Алчак для маленького Дани Жуковского не имеет пока никаких общезначимых смыслов. Это вовсе не «гора», имеющая природное происхождение и исполняющая некоторую важную роль в пространстве Судакской бухты. Нет, это такое образование внутреннего опыта ребенка, которое не имеет пока никакой геологической или культурной истории. Для трехлетнего или пятилетнего мальчика вся история этой горы – это история, порождаемая исключительно работой его воображения. История ее эмоционального проживания в разных жизненных ситуациях. История памяти о тех или иных образах и чувствах, которые возникали в его сознании при взгляде на эту гору. История внутренних переживаний, так или иначе откликавшихся на ее созерцание. Потому что это «сущность, действующая непосредственно на чувство». И невероятно острое переживание горы Алчак как чего-то «жуткого и большого, тяготеющего над всем моим ранним детством» - это переживание, которое принадлежит исключительно маленькому Дане Жуковскому, и никому другому. И об этом переживании не знает ни одна душа на свете, кроме него самого. И даже во взрослом Данииле Жуковском это переживание оставляет лишь смутные следы, которые практически не поддаются рациональному описанию: ранние детские переживания – это такие археологические слои, до которых практически никогда не добирается сознательная археология наших воспоминаний.

*«Уже впоследствии, в пять-семь лет, смотря на него, я различил его цвет, его скалистые ребра, его каменную корону на самом конце и выделил все это из единого непередаваемого чувства-ощущения».*

«Скалистые ребра», «каменная корона» - это ведь тоже открытия самого ребенка, его собственное, индивидуальное знание, которым он наделяет наблюдаемую гору. Это уже другой этап работы фантазии и воображения, когда некая первоначально целостная и не поддающаяся словесным интерпретациям предметная сущность начинает дифференцироваться с помощью обретаемых ребенком слов. Но это по-прежнему не «знание, почерпнутое из мира взрослых, а его собственное, «тайное знание», открытое и доступное только ему самому, но обретающее некие словесные формы.

И главное, что абсолютно точно фиксирует Даниил Жуковский – это то, что тайное собственное знание ребенка – знание, рождающееся в нем не поступающей от взрослых информацией, а его собственным опытом, который отливается в формы неких не передавамых с помощью слов «чувств-ощущений» - это и есть самое главное «богатство ребенка, которым живет и созидается его мир».

Это уже потом, по мере его взросления, его будут изо всех сил уверять, что главное в жизни – это чужое, взрослое знание, почерпнутое из книг или каких-то иных источников; однако в раннем детстве у ребенка есть только его собственное, индивидуальное знание, которое он не получает откуда-то в готовом виде, а вырабатывает сам, на свой страх и риск, в процессе своего собственного диалога с миром – диалога, не опосредованного пока никакими предуготовленными взрослыми интерпретационными схемами.

\* \* \*

Примечательно, насколько тонко разводит Даниил Жуковский совершающееся в опыте трехлетнего ребенка восприятие «ближнего» и «дальнего» мира

В «ближнем мире» - мире предметов, которые уже обозначены взрослыми именами и смыслами, уже как бы не остается пространства для тайны и выработки собственного, индивидуального знания. Нет, оно, конечно, остается – ребенок еще долгое время сохраняет в себе способность к фантазийному переворачиванию общепринятых культурных смыслов, к насыщению привычных предметов деятельностью собственного смыслопорождения. Однако общерпинятое знание уже доминирует, довлеет над работой фантазии и сдерживает ресурсы собственных смысловых интерпретаций. Такова неизменная и неизбежная плата за вхождение в культуру, плата за вхождение в язык. И любой «ближний» предмет уже как бы опрощен, лишен спрятанного в нем волшебства. Как в известном детском стишке: «ложка – это ложка. ложкой суп едят!», все понятно и просто: есть общеупотребительный культурный код, общеупотребительное культурное знание, присвоенное ребенком.

*«Эти предметы вошли в общие категории. Они уже имеют название. Я с ними орудую, я их вижу с разных сторон. У них определился объем, заняв некоторую часть известного мне пространства. И они уже не те: они уже незаметны, стали за своими собственными понятиями. Даже дома, заборы, дорожки палисада способны очень скоро перейти в область слишком знакомых, не вызывающих любопытства восприятий. Очень быстро глаз привыкает к прямым линиям, прямым углам, однотипным краскам...»*

Но все, что пока еще не поименовано культурными кодами, культурными именами – все это сохраняет в себе безусловную интригу первооткрытия. Это то, чем мое воображение может распоряжаться абсолютно по собственному усмотрению. Это то, по отношению к чему я могу пока сохранять абсолютный приоритет своего авторства. Сохранять приоритет своего собственного, а не заимствованного извне знания.

*«Недосягаемость далей и их отъединенность от всего интимного, домашнего практически сохраняют за ними их свежесть. Они – предмет величайшего любопытства ребенка, но безмолвного, с которым он большей частью не обращается к взрослым».*

Это великое детское безмолвие раннего возраста – возможно, самая главная, самая важная тайна становления человеческой личности как некоей внутренней суверенности, некоей самости, а не просто усвоенной извне «суммы знаний» или иных общепринятых культурных кодов. Детское безмолвие – это пространство, в котором рождается внутренне «я». И оттого внешнее безмолвие вовсе не внутреннее. Внутри себя ребенок никогда не безмолвен. Но только не безмолвен он не словами, а чувствами и переживаниями. Он постоянно разговаривает с миром изнутри себя - но разговаривает на только ему ведомом языке своих суверенных чувств и эмоций и на языке своего воображения, постоянно творящего образы этого мира и населяющего тот мир этими образами. Ребенок не просто смотрит и слушает, ребенок не просто всматривается и наблюдает – он постоянно воображает себе что-то в связи с наблюдаемым. Каждую деталь своего восприятия мира он насыщает силой своего воображения. И именно воображение является главным инструментом и главной силой его познания.

\* \* \*

Первоначально рождающееся в ребенке знание – это не знание книг и не знание окружающих его взрослых. Его первоначальное знание о мире – это его собственное, персональное знание, вырабатываемое им в процессе собственного опыта и с помощью его собственных, индивидуальных образов мира. Он схватывает мир не теми общекультурными категориями и понятиями, которые ему пока просто неведомы, но некими собственными образами, которые навсегда оставляют в его индивидуальной памяти за тем или иным явлением абсолютно субъективный семантический след. Так гора Алчак на все детство остается в его памяти чем-то жутким, большим и довлеющим – это его личный семантический код, не известный никому другому.

И вопросы к миру, которые живут в нем, но не находят языка для своего выражения – это тоже вопросы, не имеющие пока формы слов, но не становящиеся от того менее значительными и серьезными. Напротив, это предельные вопросы жизни, рождающиеся в каждом без исключения ребенке, но не способные быть озвученными, и оттого остающиеся безвестными для взрослого мира. Ведь для взрослых возраст детской вопросительности начинается лишь тогда, когда ребенок осваивает какое-то первоначальное искусство речи. И взрослые искренне думают, будто задаваемые ребенком вопросы – это и есть то, что он хочет спросить, и что мучительными недоумениями и изумлениями теснится в его голове. Взрослые даже предположить не могут, что между этой, внешней вопросительностью и тайной жизнью тех внесловесных вопросительных образов, которые теснятся в его голове – целая пропасть. И именно об этом удивительно точно и ярко пишет Даниил Жуковский, напряженно всматриваясь в устройство своего детского сознания.

*«Известно, что ребенок задает очень много вопросов, но известно ли, что это лишь ничтожная доля того, что ему хочется знать и о чем он не может спросить? …Взрослые видят, что их сын стал вдруг серьезен, что его лобик наморщился, что в глазах у него что-то новое, что он не плачет и не улыбается, а находится в странном для него состоянии неподвижности и напряженно, даже мучительно что-то обдумывает. Иногда, впрочем, эти моменты сопровождаются еще и иными рефлексами: мой брат имел в детстве привычку дрожать. Он полураскрывал рот и зубы, полусгибал руки, ноги, пальцы, приводил все мускулы в предельно напряженное состояние и начинал дрожать, причем делал он это именно в те минуты, которые и для меня были самыми волнующими. Помню, как он дрожал, глядя на огонь, стоя перед печкой, дрожал, попав в купе поезда, от нестерпимого чувства уюта и незнания, что с ним делать, с этим чувством, требующим проявления. Мне было тогда лет семь-восемь; ему – года три-четыре. Взрослые беспокоились, обращались к врачам, строили теории, кричали: «Ника, не дрожи!» А плохо знавшие его принимали это даже за Виттову пляску. Но так понятен был мне психологизм этих дрожаний, эта безвыходность одиночества, эта нестерпимость молчать. Ведь я и сам дрожал в свое время, если не внешне, то как-то внутренне. Я смотрел на взрослых, думал, какие они глупые, слушал их обсуждение Никиной «болезни», но даже и тогда мне не приходило в голову вмешаться в их разговор и попытаться сообщить им то, что они как-то не понимали»*.

Да и как вмешаешься, как расскажешь, когда слов для описания этого совершенно особого опыта у семилетнего ребенка попросту нет. Ведь чтобы описать эту суть дела, чтобы сделать эту суть дела понятной, слышимой другими, нужно перевести эту суть на язык понятий, на язык неких мыслительных конструктов, которых у семилетнего ребенка и близко пока еще нет. Да что у семилетнего! Большая часть людей вырастает, да так и не научается находить слова для обозначения переживаний своего внутреннего мира. А ведь нет на свете человека, который бы не пережил в своем раннем детстве этот абсолютно уникальный и индивидуальный опыт собственного открытия и переживания мира и себя в нем! Этот опыт **предельной** вопросительности к миру – той вопросительности, которая пока еще не подстраивается под формат всякого рода детских энциклопедий, а пытается относиться к миру на абсолютно своем, чистом и искреннем языке первичных чувств и эмоций. Ведь в раннем возрасте практически любой детский вопрос о мире и к миру **пределен**, то есть является вопросом, выводящим на предел существования. Любой, самый простой, казалось бы, с точки зрения взрослых вопрос – для маленького ребенка это практически вопрос о смысле жизни. День и ночь, сон и явь, холодное и горячее, вода и огонь, боль и радость, да практически любое событие внутренней жизни ребенка – это событие, задающее предельную, философскую размерность его существования.

И об этом абсолютно точно пишет Даниил Жуковский: переживания детской души, *«скрытые от взрослых, безвыходно замкнутые в детской душе – это и есть самое ценное»*. Пронзительное по своей силе наблюдение, заставляющее принципиально по-новому взглянуть на мир детства.. Оказывается, суть детства вовсе не в том, что могут наблюдать взрослые или даже профессиональные психологи, и о чем они могут писать в своих ученых монографиях. Оказывается, суть детства – это принципиально не наблюдаемая извне реальность внутренних переживаний, и открыта эта реальность только самому обладателю этой реальности, то есть ребенку. И ни один психолог мира не может рассказать, что происходит внутри этой субъективной реальности – только сам ее обладатель, сам ребенок знает то, как устроена эта реальность; вот только рассказать он об этом тоже не может – во всяком случае, пока в его словесном и мыслительном арсенале не накопится для этого некоторое количество необходимых инструментов. *«Если бы взрослый помнил факты, связанные с минутой такого созерцания, и сказал бы все, что можно сказать «взрослыми» словами об этой минуте, – это было бы чудесным откровением для нас не только в области педагогики и развития детей, но и в области вообще самых захватывающих психологических тайн, к каковым относится возникновение первых понятий».*

И удивительная метафора самости, метафора корневой потребности ребенка в открытом и ничем не ограниченном движении в мир – небольшая миндальная рощица, в которую можно зайти и уйти, как в бесконечность, от постоянного надзора взрослых и пережить себя наедине с этой бесконечностью. Выйти за границы мира, где ребенку постоянно навязываются какие-то ориентиры и уйти в волшебный мир, где только ты – хозяин пространства и хозяин своего движения по этому пространству. И, конечно, ты не просто бродишь, а постоянно воображаешь, воображаешь, воображаешь. Волшебная «путанка», в которой все принадлежит тебе, а, значит, принадлежит твоей способности воображать и населять этот волшебно запутанный мир продуктами своего воображения. Вот почему туда тянет снова и снова, вот почему тебе не бывает там скучно, вот почему ты готов проводить там долгие счастливые часы. А взрослые, конечно, не могут постичь радости этих волшебных открытий. Они не могут понять, почему ребенка так тянет в эту миндальную рощицу – «ну что он там нашел?!», и они не подозревают, что смысл этой миндальной рощицы для ребенка в том, что она – своего рода метафора свободы и целая Вселенная смыслов, которые рождаются работой детского воображения и детской фантазии.

*«Величайшей радостью жизни стало для меня, оставив няню, сидеть на краю рощицы, обходить вокруг стволиков, переходить от одного к другому, методически изучать каждое дерево – углубляться в самый глухой угол этого небольшого квадратного участка, где деревца уже начинали бросать маленькую тень. Меня больше всего радовало, что, отойдя на некоторое расстояние от няни и от дороги, я уже не видел их (хотя и боялся отходить от них слишком далеко), не видел вообще ничего, кроме моря светлых макушек и веточек; и мне хотелось, чтобы такая рощица тянулась во все стороны далеко-далеко, чтобы я мог извилисто идти по ней все дальше и дальше, ничего другого не видя. Это желание теперешними словами можно назвать только стремлением к дезориентации в мире: все забыть, все потерять, чтобы все стороны смешались, утратив свой абсолютный характер, сделались относительными, чтобы направление моего движения было единственной координатой мира, и то все время колеблющейся, – мира однообразного, хотя и наполненного смутно ощущаемым многообразием форм веточек и макушек. И было чувство досады, усугублявшееся по мере того, как я обнаруживал геометрию их расположения, нарушавшую все обаянье запутанности: деревца стояли правильными рядами, и между ними открывались прямые просветы. Их перспектива всегда заканчивалась знакомыми предметами, в них виднелись наша ; дача, дорога, няня. Я старался всегда стать так, чтобы они мне не были видны; я радовался, когда находил деревцо, отступившее от общего правила и росшее немного сбоку от остальных. Не помню, откуда возникло это слово впервые, кто первый сказал мне его, кто первый частично смог угадать мои тогдашние радости и назвал эту рощицу «путанкой». «Путанка» стало любимым моим словом, при одном произнесении которого во мне что-то трепетало. В путанке проведено много счастливых часов».*

У каждого человека бывала в жизни такая миндальная рощица. Просто мы выросли и про нее забыли. Пространство, в котором мы чувствовали себя принадлежащими себе, и только себе. Волшебное пространство свободы, в котором нет четких ориентиров и, стало быть, нет границ для фантазии. Это прежде всего, конечно же, твои игрушки, в которые ты играл увлеченно и отъединнно от взрослых «надо»; это, конечно же книги, которые ты читал тайком от взрослых, и которые вольно наделял своими чувствами и мыслями; это, конечно же, вещный мир твоено дома – но только тогда, когда ты оставался один, без взрослой опеки, и имел возможность счастливо проживать мир привычных домашних вещей как мир своей безудержной фантазийной свободы.

\* \* \*

Вот, кстати, еще один сюжет на тему свободы из воспоминаний Жуковского.

Уже более зрелый возраст, уже нет надзора няни, и можно совершенно самостоятельно отправляться в захватывающее путешествие по незнакомым и таинственным овражным ложбинам, в которых так сладостно заблудиться и почувствовать себя первооткрывателем мира.

*«Мы выбирали одну из уютных маленьких ложбинок и начинали путешествие. Я становился на самое дно узенькой, мягкой, проложенной влагой дорожки и шел по ней, следуя ее малейшим изгибам. Все остальные холмы скрывались из вида за склонами нашего ущельица и благодаря моему маленькому росту; и после нескольких поворотов я с наслаждением замечал, что уже не знаю, в какую сторону мы идем. Дно высохшего русла вилось то многоколенчатой змейкой, то более широкими зигзагами, но далеко никогда не было видно. В самых замкнутых и трогательных уголках мы останавливались, я изучал почву, отламывал от нее камешки, копался со своим совочком, и затем мы снова шли дальше. Иногда присоединялись с боков новые коридорчики, и мне предоставлялось сладостное право выбирать, куда идти дальше. Меня разочаровывало, что, когда мы выходили на более открытые места, из-за холмов виднелись зеленые макушки какого-то сада. Мне было понятно то, что часто не могут понять туристы и отдыхающие, глядя на подобные ландшафты. «Какое однообразие! Какая бедность!» – говорят даже те, кто ценит и любит природу вообще. Но ведь и море однообразно! Все – только вода. А здесь – только земля. Мир застывших, запутавшихся узлистым лабиринтом струй земли. И многообразие, допустимое в этом мире, должно быть прежде всего графическое, а не цветовое. Бурая, лиловато-рыжая, розоватая вечером долина эта сразу теряет весь свой пафос и цельность, как только ложится на нее ярко-зеленое пятно дерева. Тогда для меня всякое дерево было обидно, как метка, определявшая какую-то часть местности, мешавшая заблудиться...»*

Вот, что самое важное в этом раннем опыте самостоятельных путешествий по незнакомым мирам: возможность как бы заблудиться. Чтобы потом самостоятельно выбраться, выкарабкаться, найти дорогу – но не указанную кем-то, а обнаруженную тобой самим. Метафора твоего права **самому** **быть** в этом мире, а не принадлежать воле всезнающих и всё определяющих взрослых. Метафора твоего права определять траекторию своего движения, а не двигаться по тропинкам, уже кем-то протоптанным для тебя. И оттого опыт таких самостоятельных путешествий – один из самых важных, самых значимых опытов детства для любого человека.

Вообще невероятно важно, что ребенок в своем восприятии мира все время видит совсем не то, что видят взрослые. Взрослые постоянно показывают что-то, на что-то настойчиво обращают винмание, но ребенок-то видит своим взором, и постоянно подмечает в мире такие «важности», которые ведомы только ему одному, и это, наверное, и есть самое главное в опыте раннего детского созерцания. Отстроиться от общего формата, выйти за границы навязываемых схем восприятия. Сохранить и упрочить суверенность и незаемность своего взгляда на мир – вот что самое важное, самое главное. Увидеть безмерную вселенную в том, что взрослые не обращают никакого внимания.

Например – в ложбинной равнине, которая для взрослых – просто невзрачная местность, где не на чем задержаться взгляду, а для ребенка – целый безмерный мир, *«волнистое земляное море, сразу оказывающее какое-то особое влияние на глаз».* И вовсе не прелести туристических достопримечательностей, а именно эта невзрачная, изрезанная *«червяками»* оврагов местность оставляет в детской памяти наиболее значимые метки. Да, *«это была пустыня, но пустыня всхолмленная, покоробленная, где не сыщешь ровного места, похожая больше всего на извилины мозга или на рыжее измятое одеяло».* И именно в этой «пустыне» происходят наиболее захватывающие путешествия и приключения.

И точно так же совершенно особым зрением открывается маленькому Даниилу огромная равнина Капсель за перевалом, отделяющим ее от Судакской долины..

*«Мой взор и ум тянуло туда с непреодолимой силой только потому, что это новое лицо земли сулило новые богатейшие возможности заблудиться. Я внимательно прослеживал морщины ущелий, ища, в какое из них лучше всего стать, чтобы остальное скрылось из вида, какое окажется наиболее длинным и запутанным. И это напряженное, вожделеющее созерцание немедленно сопровождалось воображением. И так я, мучимый своими личными вопросами и исканиями, приглядывался к своеобразию картины, сживался с ней и проникал в нее. И в силу ассоциативных законов эмоция запутанности, странно деформируясь, но не утрачивая своей силы, переходила с одного элемента на другой; она пробуждалась уже не только тогда, когда я видел извилистость линий, – она сообщилась специфическим цветам и оттенкам Капсели. Никогда не забуду того странного состояния духа, которое охватывало всегда, когда мы снова отправлялись в Капсель и вдруг за перевалом весь воздух становился другим от этих бурых и лиловатых отсветов, таких нежных, таких особенных... Я не видел прелестей Судакской долины, ее зеленых садов, ее тополиных далей, широких очертаний заливов и мысов, я не восхищался грандиозностью скал и обширностью видов, но один из элементов местности был принят мною с предельной интенсивностью».*

Но мало кто из взрослых задумывается над тем, до какой степени ребенок видит по другому, нежели они сами, до какой степени взгляд маленького ребенка самостоятелен. Они искренне верят, что маленький ребенок видит то, что ему показывают, что предметность его взгляда подчинена предметности взгляда взрослых, что у него нет никакого особого суверенитета зрения. Можно ли придумать большее педагогическое заблуждение!

*\* \* \**

Для ребенка жизнь состоит из деталей, на которые взрослые попросту не обращают внимания.

Вот поездка к бабушке на дачу.

Для взрослого – рядовая вещь. Ничего особенного.

Для ребенка – «целый мир новых странных и интересных чувств-ощущений». И каждое из таких «чувств-ощущений» отпечатывается в сознании и сохраняется в памяти на долгие годы вперед.

Это и «запах пыли», который «смешивается с запахом лошадиного пота», это «обрывки полыни», которые «пробегают по краю дороги», это «звонкое скрипение колес по садовой гальке», это вдруг наступающая темнота от большого куста сирени, и это сам бабушкин сад – «большой, неисследованный, таинственный», и предощущение бесконечного путешествия по садовым закоулкам… Путешествие, в которым самым важным является не столько познание и исследование, сколько воображение.

А еще – ужас «зловещих ритмичных постукиваний» ветряной водокачки. Некий раз и навсегда заведенный ритм, в котором нет реальной жизни, а только механистическая имитация жизни. **И** оттого, наверное, глубина ужаса: ветряная водокачка – это заколдованная жизнь, суррогат жизни. Потому что настоящая жизнь – это всегда непредсказуемость, это всегда открытие чего-то нового, это всегда развитие.

Разумеется, ребенок не думает такими словами, но именно таковы его чувства, таковы его ощущения, запечатлеваемые памятью – чтобы уже во взрослом возрасте найти слова, способные хотя бы чуть-чуть передать мир живущих в ребенке чувств и восприятий.

Удивительное открытие, касающееся природы поэзии, делает Даниил Жуковский. Поэт – это человек, который с помощью слов пытается то первичное, естественное переживание, которое ребенку дано *«без всяких усилий, невольно и естественно».* Но чтобы совершить поэтическое восхождение к правде естественного детского взгляда, нужно «*произвести труднейший эксперимент над человеческим сознанием - изгнать из него всю систему абстрактного мышления и раскрыть и закрепить в строках подлинную вещь, а не ее абстракцию».*

Но ребенок *«осужден на безмолвие»* - в нем есть только полнота первичных чувств, но нет слов, способных эти чувства обнаружить.

*\* \* \**

Впрочем, не только бабушкин сад интересен ребенку своей таинственностью и возможностью бесконечного захватывающего путешествия, когда каждый новый поворот дает повод обостренной фантазии ивоображения. Ребенку важен вкус тайны буквально во всем. Тайна - путеводная нить, позволяющая не столько «познавать» мир, сколько воображать непознанное. И как таинственный сад путешествующий по нему ребенок наполняет своими образами и фантазиями, так и язык для него – такой же таинственный сад, где он встречается со множеством слов, значение которых ему непонятно, но тем прекраснее, тем обворожительнее эти слова.

Это взрослым дидактам кажется, что ребенку комфортнее жить в мире понятных слов. Но ребенок наслаждается жизнью в мире непонятного – ведь только в этом случае жизнь по-настоящему захватывающа и интересна. С каким энтузиазмом осваивает речь двухлетний малыш! А ведь исходно нет ни одного слова, смысл которого был бы ему понятен. Однако ребенок азартно вслушивается в речь окружающих его взрослых, и происходит чудо – в смутном мареве окружающих его речевых потоков он начинает распознавать смысловые ячейки. Но каждая смысловая ячейка для него – это не просто «словарная статья», почерпнутая извне, а некий авторский смысловой контекст, созданный с помощью собственного воображения. Ребенок вначале воображает слово, наполняет его своими, авторскими смыслами и значениями (исходя из тех или иных контекстов, в которых он наблюдает жизнь этого слова), придумывает ему собственную, вообразительную семантику – и лишь потом соотносит его с теми значениями, которые привычно функционируют во взрослой языковой культуре. Таким образом, каждое без исключения слово языка переживает в сознании ребенка некоторое вообразительное приключение. И это происходит на протяжении всего процесса становления языкового сознания ребенка. Вначале – собственная, иллюзорная, вообразительная, мифологическая семантика слова, и лишь потом – соотнесение ее с некоей общекультурной кодировкой. На растяжке вообразительной и общекультурной семантики слова и происходит рождение собственной, авторской речи ребенка, которая с самого начала является живой, творческой, авторской речью, а вовсе не мертвым слепком с готовых языковых конструкций (как это происходит обычно при изучении иностранных языков).

*«Были песни, в которых я понимал не все слова, но которые любил тем больше. Фонетика непонятных слов, которая свободна от навязанных извне понятий, ведет к образованию самых неожиданных зрительных представлений. Когда я слышал строки:*

*Ночью в колыбель младенца  
Месяц луч свой заронил...  
- Отчего так светит месяц? -  
Робко он его спросил, -*

*два непонятных слова - "заронил" и "робко" - жили особой лирической темной жизнью. При их произнесении перед моими глазами начинал вырисовываться скорее всего фотографический аппарат или волшебный фонарь.*

*Слово "знойный", как-то мной услышанное, всегда влекло за собой зрительное представление церковных куполов или шлемов богатырей - может быть, в силу какой-нибудь ассоциации по смежности; и в этих замысловатых изгибах шлема и в их остриях, которые сливались в одно с фонетическими узорами слова, опять было что-то зловещее и притягивающее.*

*И - уж совсем неожиданно - такое же представление возникало при произнесении мной или кем-нибудь из окружающих слов:*

*Дождик,дождик,перестань!  
Мы поедем во Ердань.*

*Это двустишие было знойное».*

*\* \* \**

Говоря «воображение», мы часто имеем в виду некий «взрослый стандарт» воображения – некий более или менее рационально управляемый процесс. Мы воображаем то, что готовы и хотим вообразить.

Но для маленького ребенка сила его воображения заведомо превышает силу его рациональности. Воображение для него – не инструмент, с помощью которого он решает какие-то задачи, а некая вольная сила, которая в любой момент жизни готова подхватить его сознание и увлечь в самые невероятные приключения. И все, что от тебя требуется – это позволить, чтобы поток воображения тебя подхватил и увлек за собой. При этом, конечно же, ты не просто «отдаешься» некоей безликой и стихийной силе, а сознательно управляешь тем, что происходит в пространстве твоего воображения. Занимаешься своего рода виндсерфигом на волнах своего воображения, а не просто отдаешь себя во власть вообразительных волн.

*«Лежа в постели, я начинал улавливать, что при некоторых положениях тела, при равномерном темпе дыхания где-то в горле или в носу раздается особый легкий свист... И под этот чуть слышный свист все яснее начинало вырисовываться, как я лежу уже не в своей постельке, а в какой-то люльке, подвешенной высоко-высоко, возле того, что было самым чужим и страшным, под самым колесом бабушкиной водокачки, которое крутится со зловещими ритмическими постукиваниями. Чувство предельного неуюта и затерянности охватывает меня, но в то же время и чего-то неизъяснимо-сладкого. И под эти ритмические постукивания ветер моего дыхания слагается в какую-то отдаленную, едва слышную мелодию, в какой-то колыбельный речитатив, такой жалобно-одинокий и такой страшный, что я не знаю, прекратить мне это мое состояние или продолжать его»*

И это тоже – воображение. Ведь ты в любой момент можешь прекратить это сладко-тревожное состояние. Проблема, впрочем, не в том, чтобы «прекратить», а в том, чтобы уметь вызвать.

*\* \* \**

Жизнь детского воображения – воистину фантастическая жизнь.

Это взрослым важна реальность. И хотя у взрослых тоже есть воображение, прилагают специальные усилия, чтобы корректировать работу своего воображения и смирять ее с реальностью.

Взрослый, по сути дела, тем и отличается от ребенка, что для него реальность выше и значимей, чем воображение. И он умеет жить в соответствии с реальностью

Для ребенка же реальность – это лишь повод для воображения, и если реальность отказывается соответствовать воображаемому – тем хуже для реальности. Значит, она не имеет права на существование.

Потому-то и уходит ребенок с такой страстью в игру. В игре ничто не мешает ему воображать. И оттого игра для него – это вовсе не развлечение, не «прибавка» к тем или иным жизненно важным, «серьезным» делам (как это бывает у взрослых), а сама сердцевина жизни, жизнь «par exellence», подлинность и нерв жизни.

Вот маленькому Дале сообщают о том, что у него должна родиться сестричка. «Как бы ты хотел, чтобы звали твою сестричку?» - неосторожно спрашивает няня, и вот уже рождается имя Ирина, а вслед за именем и сама Ирина рождается в Далином воображении, становясь полнокровной и полноправной участницей всех Далиных игр.

*«Не знаю, случайно ли это или неизбежно так должно быть, что памятью наложен запрет на самое интересное. Только я помню себя уже охваченным большой и упорной мечтой. Она была столь сильна, что, несмотря на всю невозможность сожительства в ней со взрослыми, вырвалась наружу и внешне стала видной для них.  
Я мечтал и я играл, что я вместе с Ириной погружаюсь в одежде в воду, купаюсь с ней, плаваю, ныряю, "летаю" с нею внутри воды, поднимаясь и опускаясь. Бегая по двору, я пытался имитировать пловца, собирал щепки и мхи и приносил их Мисе. Это были рыбы, которых я ловил руками. Ирочка неизменно была рядом со мной.  
В этом имени было сосредоточено все богатство мечтаний».*

А когда спустя какое-то время выясняется, что на самом деле рождается брат, это становится невыносимой травмой

*\* \* \**

Отдельная история – это история про неизбежно рождающегося в маленьком ребенке философе.

Об этом тоже едва ли догадываются взрослые, но философ рождается в маленьком ребенке совершенно обязательно. Постольку, поскольку в каждом ребенке обязательно рождается удивление перед миром и «предельные», выводящие на предел существования внутренние вопросы, которые он, конечно же, не может сформулировать, не может задать взрослым (да если бы и задал – разве может кто-то извне ответить на твой «предельный» вопрос?), и которые как главные вопросы жизни сопровождают его на протяжении всего раннего детства.

Например, в Данииле Жуковском совершенно отчетливо рождается Фалес. Потому что самое глубокое потрясение трехлетнего Даниила – это вода.

Вода с ее удивительной способностью быть постоянной загадкой

Вода как бытовая банальность – и вода как чудо, вступающее в живой диалог с телом или демонстрирующая свою удивительную способность всепроницаемости.

Вода как сила и вода как слабость. Вода как зов в иные реальности и вода как то, с чем можно бесконечно играть, и что никогда не надоедает.

Первая загадка – это загадка взаимоотношений между водой и нашим телом.

Есть привычная вода, которая стоит в стакане или в графине на столе, та вода, которой утоляется жажда, и которая, в общем-то не слишком интересна. Мы ее пьем, не слишком-то замечая. Разве что немного подержим на языке, вслушиваясь в ее почти незаметный вкус.

Но вот та же, кажется вода, которая объемлет твое тело, и в которой твое тело становится невесомым, и вдруг все в тебе начинает происходить как бы немного по другому, и странным образом эта вода оставляет на твоем теле след в виде особых «рисуночков» на коже.

И совсем другая вода – в реке, как визуальный образ бесконечного движения, образ потока, когда нет устойчивости форм, и нет повторений, и происходят бесконечно-неисчерпаемые перемены в том, что видят твои глаза. Или в море – совсем другой визуальный образ, но точно так же бесконечно изменчивый и бесконечно живой.

И та же вода – в ее странном свойстве всепроницаемости, удивительной способности просачиваться и проникать – словно глубинная метафора самого человека с его способностью проникать и просачиваться в самые разные реальности…

Вот что, оказывается, бессловесно мучит воображение и мысли трех, четырех, пяти или шестилетнего ребенка – глубочайшая, не лежащая на поверхности философия воды как некоей бесконечной загадки и бесконечной тайны, и эту философскую загадку ребенок усложняет и уплотняет в своем сознании при всякой новой встрече с водой.

Нам кажется – ребенок просто «балуется», с азартом ступая во всякую встречающуюся у него на пути лужу – нет, он экспериментирует и напряженно вслушивается в процесс и результаты своего эксперимента рождающимся у него в этот момент особым, тайным философским слухом.. Оказывается, он строит **концепцию** воды и ведет с этой концепцией воды какой-то только ему ведомый диалог. Один сюжет – это когда я ступаю в воду в ботиночках, которые могут промокнуть, и тогда я проживаю ощущение телесного диалога с водой, которая как бы делится со мной своей способности проникновения «сквозь». И другой – совершенно другой, но не менее волнующий и загадочный сюжет – это когда ступаю в воду в непромокаемой обуви, и это почти что христианское чудо хождения по воде… Вероятно, в каждом ребенке, начиная с двух-трех лет происходит это тайное, не ведомое миру взрослых рождение фалесовской философии воды - конечно, не оформленной в слова, но оттого ничуть не менее сложной и глубокой.

*«Хотя большую часть детства я жил на берегу моря, купаться в море мне было разрешено относительно поздно – лет с десяти. (…) До этого времени вода не утрачивала для меня чего-то загадочного – загадочного в смысле отношения между нею и нашим телом: как оно живет в воде? Что с ним делается? Как все это бывает?*

*Произвести теперь абстракцию моего тогдашнего восприятия воды всего* *труднее.*

*Одно – это вода в стакане, в водопроводе, в графине на столе, в самоваре. Она понятна и мало интересна.*

*Совсем другое – вода в больших количествах, и прежде всего в ванночке, в которой меня купают. Удовольствие физиологических ощущений смешивается со смутной радостью от сознания того, что я объят этим теплом, в котором так странно, так особенно двигать руками, в котором все тело становится другим... И как благая память от водяных касаний – когда меня вынимают из ванны – кожа на кончиках моих пальцев оказывается сморщенной, появляются «рисуночки», которые я с наслаждением разглядываю, забывая, что при выходе из воды мне холодно и неприятно.*

*Вода в реке, в море, вообще вне дома, – это опять нечто качественно иное и гораздо более любопытное, ибо гораздо менее понятное. Я вижу, как плавают люди там, куда мне нельзя, где мне «выше головы», я вижу, как идет пароход по реке Ас. Смутное представление о громадной несущей силе воды, о ее могучести, непонятной для такого пластического и текучего, во что можно легко погрузить руку и ногу, неясные мысли о потере веса вещей в воде, в том числе и моего тела, – все это таящееся, полуразгаданное, невыявленное, неназванное превращает мое любопытство в нечто большее – в скрытую страсть к воде.*

*Но самое ее важное свойство – всепроницаемость.*

*Однажды мы были в гостях у моих тетушек в Майоренгофе, куда отправились из Ассерна на поезде. Это было большим событием и хорошо запомнилось. Гуляя там один в садике, я провалился одной ногой в бочку, врытую в землю. Тотчас же я ощутил под своим чулком что-то холодное и неприятное, слегка пощипывающее. Никого кругом не было, а я один не мог выбраться, поднял рев. Меня вынул какой-то садовый работник, но ощущение скользкости и пощипывания в ботинке не прекратилось. Прибежали мама, няня; меня мыли, переодевали, сушили... Этот факт должен был сыграть большую роль в процессе созидания водной концепции, хотя в чем эта роль – не осталось в памяти. Должно быть, именно здесь я доосознал наиболее отчетливо, волшебное свойство проникновения воды сквозь самые маленькие щелки. Чулочки, башмачки – ничто не предохраняло от нее. Неприятные ощущения не замутили, по-видимому, всеобщего ее очарования. Эта ассоциация выпала из общего ряда, или я сам вытравил ее, ибо вода должна была быть только приятной.*

*И вот по мере того, как мне полураскрывались все эти свойства, – возникали все более захватывающие гипотезы о том, каковы ощущения купающегося в море. Приятнее всего, должно быть, купаться в одежде. Почему – не знаю. Но ощущаю воду, проникшую сквозь одежду, и мокрые одежды на себе в воде, где и прикосновения к ним стали другими, – это сделалось каким-то сладострастьем мысли, другим именем не могу это назвать. Кажется, рай представлялся мне тогда как берег моря, где все люди купаются в одежде, то входя в воду, то выходя, стоя по пояс в ней или совсем погружаясь.*

*Возможно, что все это родилось впервые при взгляде на; картинку, которая фигурировала в моем детстве очень долго. На ней были изображены маленькие дети, копошащиеся в одежде в грязи. Глядя на них, я смутно думал, как грязь и вода проникают сквозь их платье, заполняют там все промежутки, особенно когда они ерзают и шевелятся в ней, не боясь погружать в нее руки, – как окутывает, обнимает их... И мне казалось, что они – счастливые герои, что-то посмевшие, что-то; преодолевшие и получившие за это блаженство.*

*…Из ярких событий в Ассерне мне хорошо запомнилось, как осенью, когда уже было холодно и дождливо, на меня надели новые башмачки с приятно щелкнувшей застежкой и отправили гулять с няней, сказав, что теперь у меня «ножки не промокнут». Последнее я понял только в том смысле, что мне можно будет делать то, что обычно запрещалось, – становиться в самые большие лужи. Это я и стал исполнять: выискивал ямки, наполненные водой, и топтался в них, стараясь стать поглубже. Ощущения не было никакого, оно было заглушено нахлынувшим обаянием мига, – того, что я в одежде, хотя бы только ступнями, погружаюсь в воду. Когда я вернулся домой, был крик и была суетня, меня бранили, бранили няню, что-то делали с моими ногами, давали мне что-то пить... «Да как же недоглядели?!», «Какой ты скверный мальчишка!» – доносятся до меня еще сейчас смятенные возгласы.*

*Один раз не то в Судаке, не то еще в Ассерне я увидел рыбаков, вытаскивающих лодку на берег: они все еще стояли и ходили в воде в очень высоких сапогах. Само собой разумеется, что я так и прилип к ним глазами. Тут начинала воплощаться моя греза о рае. Мне объяснили, что сапоги их не пропускают воду. Я долго обдумывал это, не зная, принять или не принять, что есть одежда, которая защищает от воды: разрушит ли это очарование – или это еще более интересно и загадочно, что можно стоять в воде и быть сухим...»*

*\* \* \**

Еще одно предельное философское напряжение маленького ребенка – это открытие тотальной антропоморфности мира.

Открытие того, что буквально во всем, что тебя окружает, можно увидеть человеческий лик.

*«В каждом холме, в каждом новом большом дереве прежде всего другого виделись глаза, нос, рот».* Кому из детей не знакомо это удивительное открытие? А, стало быть, и философский смысл этого открытия: человек вездесущ, как и вода. И лики человека могут быть бесконечно разнообразны.

Но это не «примитивный анимизм», как пишет Жуковский. Это приближение к великой и удивительной тайне человека: тому, что человек может быть бесконечно, неисчерпаемо многолик.

Одно из самых великих открытий раннего возраста – это открытие мимической неисчерпаемости лица. Уже в младенчестве ребенок научается «считывать» оттенки мимики, т.наз. «выражение глаз», которое изменяется вовсе не потому, что как-то изменяются сами глаза – да нет, глаза-то как раз остаются неизменными. Но постоянно, непрерывно меняется их «мимический контекст», и именно благодаря изменению этого мимического контекста мы видим разные «выражения глаз».

И та страсть, та легкость, с которой любой ребенок раннего возраста выискивает и находит в окружающей его действительности неисчерпаемое множество самых разнообразных лиц, несущих в себе самые разные оттенки выражений, - это опрокидываемый в природу внутренний диалог ребенка с тайной человеческой мимики. А, значит, и со своей собственной тайной, ведь мимика – это зеркало души.

*«Искривленные рты изуродованных тополей; примятые, сломанные лица клочков полыни по краю дороги; ужасное, дикое выраженье лица Майиных волос, – но главное – горы, прочнее всего вошедшие в меня ввиду их вездесущности и неизменности в течение всего лета… Прямо через долину, всегда против меня, стоял Ай-Георгий. Его трехугольное – углом кверху – лицо было сморщенно, но властно. Страшен он не был, кажется, никогда….Весь рисунок его был очень сложен и неисчерпаем для исследования. Однажды, глядя на него из другой части Судака, я был поражен изменением его лица – тем, как оно перекашивалось, как на нем появлялось что-то жалкое».*

Многоликость человека, неисчерпаемость лиц, которыми может обладать один и тот же человек – это самая главная, самая значительная, самая глубокая тайна человеческого существования. Потому что это тайна неисчерпаемости его внутреннего мира. Тайна вселенской сущности человека. И нет ребенка, который бы не исследовал эту тайну, обнаруживая неисчерпаемое многообразие человеческих лиц в окружающем его мире

*«Это наполнение мира человечьими лицами – именно человечьими, ибо даже у животных они человечьи, – совершается невольно и естественно. Это не есть точно установленные части лица на каждом предмете. Это – лишь необязательная, колеблющаяся конкретность, вокруг которой сгущается эмоция вещи. Ибо главное в этом лице – его выражение. Часто я не смог бы указать, если бы меня спросили, – да это и не важно было, – какая именно морщина является ртом и где глаза. Но спокоен или взволнован взор этих глаз, суровые они или добрые, печальные или веселящиеся – в этом я отдавал себе гораздо более точный отчет».*

*\* \* \**

Может быть, самое удивительное в воспоминаниях Даниила Жуковского – это невероятная точность фиксации «экзистенциальной вброшенности» маленького ребенка в мир. Фиксация того, до какой степени – вопреки распространенным иллюзиям взрослых о «безоблачности» детского существования – предельным и напряженным является внутренне существования маленького ребенка.

*«Улыбка без лица. Таково первое восприятие вещей ребенком. Нет понятий, нет того, что мы называем элементами знания: каждый предмет действует прямо на чувство, ничем не защищенное. Я начинаю жить в таком обнаженном мире чувств, прущих на меня из всех углов, что если бы не скудость вещей, находящихся в комнате и возле дома, и не игнорирование на первых порах большинства отдаленных предметов, – я бы заблудился среди этих мне одному ведомых звуков и запахов, захлебнулся бы, погиб бы...»*

Вот что самое главное в детском существовании: обнаженность и абсолютность чувств. Когда эти чувства еще не прикрыты оболочками спасительных понятий, оболочками спасительных рациональных конструктов. Когда все – впервые, все – по-настоящему, все – «до полной гибели, всерьез».

*«До какой степени полна переживаниями одна только дорога от дачи Морозовых до бабушки, и как теперь она резко отличается для меня от всех остальных судакских дорог, которых я не знал в детстве! Мне становится почти страшно, когда я думаю, что было бы, если бы все количество дорог и все местности, которые я посещал, и все многообразие моих теперешних ощущений были так же насыщены эмоциями».*

Таково предельно честное и предельно точное признание детства как неизмеримо более сложной и трудной внутренней реальности, нежели наше привычное о ней представление. И это понимание, которое открывает существенно новые горизонты в понимании того, как устроено взросление человека.

1. Даниил Жуковский – сын Аделаиды Герцык и Дмитрия Жуковского. Родился в 1909 году, расстрелян по приговору особой тройки в 1938 году, в возрасте 28 лет за хранение контрреволюционных стихов. Уже находясь в заключении пишет «Мысли о детстве и младенчестве» - текст, в котором фактически предлагает совершенно новую исследовательскую парадигму построения детской психологии. Именно это текст и является предметом анализа данной статьи. [↑](#footnote-ref-1)
2. Термин Даниила Жуковского [↑](#footnote-ref-2)